

Соловьев Евгений Андреевич

**Аксаковы, их жизнь и
литературная деятельность**

Биографический очерк

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Е14

Е14 **Евгений Андреевич С.**
Аксаковы, их жизнь и литературная деятельность: Биографический очерк /
Соловьев Евгений Андреевич – М.: Книга по Требованию, 2025. – 89 с.

ISBN 978-5-519-74747-9

ISBN 978-5-519-74747-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2025

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2025

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

О Г Л А В Л Е Н І Е.

I. Московскій кружокъ славянофиловъ	стр. 5
II. Центръ московскаго славянофильства — домъ Аксаковыхъ	19
III. Литературная дѣятельность С. Т. Аксакова	26
IV. Константинъ Сергѣевичъ Аксаковъ	34
V. Славянофильская доктрина	48
VI. Иванъ Аксаковъ.—Немезида славянофильства.—Славянофильство, какъ классовая теорія	66
VII. Заключение	78

И С Т О Ч Н И К И.

- 1) Сочиненія С. Т., К. С. и И. С. Аксаковыхъ.
 - 2) Критико-біографическій словарь С. Венгерова т. I.
 - 3) Вл. Соловьевъ «Национальный вопросъ въ Россіи» т. II.
 - 4) Мих. Бо...ръ Происхожденіе славянофильства.
-

I. Московскій кружокъ славянофиловъ.

«Славянофильство или руссизмъ, не какъ теорія, не какъ ученіе, а какъ оскорбленное народное чувство, какъ темное воспоминаніе и массовый инстинктъ, какъ противодѣйствіе исключительно иностранному вліянію существовало со времени обрѣтія первой бороды Петромъ Великимъ».

Противодѣйствіе петербургскому «объевропеиванію» Россіи никогда не перемежалось; казенное, четвертованное, повѣшенное на зубцахъ Кремля и тамъ прострѣленное Меньшиковымъ и другими царскими «потѣшными» въ видѣ буйныхъ стрѣльцовъ; убитое въ равелинѣ петербургской крѣпости въ лицѣ царевича Алексея, оно—это противодѣйствіе—является какъ партія Долгорукихъ при Петрѣ II, какъ ненависть къ нѣмцамъ при Биронѣ, какъ разнузданная брань геніальнаго Ломоносова, какъ сама Елисавета, опиравшаяся на тогдашнихъ славянофиловъ, чтобы сѣсть на престолъ: вѣдь народъ въ Москвѣ ждалъ, что при ея коронованіи выйдетъ приказъ избить нѣмцевъ. Всѣ раскольники—славянофилы по настроенію. Солдаты, требовавшіе смѣны Барклая-де-Толли за его нѣмецкую фамилію, были предшественниками Хомякова и его друзей.

Война 1812 года сильно развила чувство народнаго сознанія и любви къ родинѣ, но патріотизмъ 1812 года не имѣлъ старообрядчески-славянскаго характера. Мы его видимъ въ Карамзинѣ и Пушкинѣ, въ самомъ императорѣ Александрѣ. Практически онъ былъ выраженіемъ того инстинкта силы, который чувствуютъ всѣ могучіе народы, когда ихъ задѣваютъ чужіе; потому что это было торжественное чувство побѣды, гордое сознаніе даннаго отпора. Но теорія его была слаба; для того, чтобы любить русскую исторію, патріоты перекладывали ее на европейскіе нравы; они вообще переводили съ французскаго на русскій римско-греческій патріотизмъ Корнеля и Расина и не шли далѣе стиха:

Pour un coeur bien né, que la patrie est chère!

Какъ дорого отечество для благородно рожденнаго сердца!

Правда Шишковъ бредилъ уже и тогда о восстановленіи стараго слога, но вліяніе его было ограничено. Что же касается до настоящаго народнаго слога, то его зналъ одинъ офранцуженный

графъ Растопчинъ, да и тотъ частенько перевиралъ его, преобразовывая въ «балаганный стиль».

По мѣрѣ того какъ война забывалась, патріотизмъ этотъ утихалъ и выродился наконецъ, съ одной стороны, въ подлую циническую лестъ «Сѣверной Пчелы», съ другой — въ пошлый Загоскинскій патріотизмъ, называвшій Шую Манчестромъ, Шубуева — Рафаэлемъ, хваставшій штыками и дистанціей огромнаго размѣра «отъ стѣнъ Кремля до стѣнъ Китая»...

Только при императорѣ Николаѣ славянофильство изъ настроенія обратилось въ доктрину, теорію. Въ этомъ многое было повинно, и прежде всего режимъ Николаевскаго царствованія. Удивительное время!

«Создалась,—говорить г. Любимовъ, большой сторонникъ Каткова и «Моск. Вѣд.», правительственная система, съ которой не могъ примириться ни одинъ независимый умъ, прилаживаться къ которой свободная мысль могла, лишь заглушая себя, скрываясь, побѣждая себя, сосредоточивая вниманіе на свѣтлыхъ сторонахъ и закрывая глаза на темныя, удовлетворяясь довольствомъ личнаго положенія, лицемернивольно или невольно, чтобы не прать противъ рожа.

«Государственная идея, высокая сама по себѣ и крѣпкая въ державномъ источникѣ ея, въ практикѣ жизни приняла исключительную форму «начальства». Начальство сдѣлалось все въ странѣ. Все Кесареви, —Богови оставалось весьма немного. Все сводилось къ простотѣ отношеній начальника и подчиненнаго. Губернаторъ, при какой-то осылкѣ на законъ, взявшій со стола томъ свода законовъ и сѣвшій на него съ вопросомъ: «гдѣ законъ?», былъ лицомъ типическимъ, въ частности добрымъ и справедливымъ человѣкомъ».

«Въ то время,—продолжаетъ г. Любимовъ,—купецъ торговалъ, потому что была на то милость начальства; обыватель ходилъ по улицѣ, спалъ послѣ обѣда въ силу начальническаго позволенія; приказный пилъ водку, женился, плодилъ дѣтей, бралъ взятки по милости начальническаго снисхожденія. Воздухомъ дышали, потому что начальство, снисходя къ слабости нашей, отпускало въ атмосферу достаточное количество кислорода. Рыба плавала въ водѣ, птицы лѣли въ лѣсу, потому что такъ разрѣшено было начальствомъ. Начальникъ былъ безответствененъ въ отношеніяхъ своихъ къ подчиненнымъ, но имѣлъ, въ тѣхъ же условіяхъ, начальство и надъ собою. Для народа, несчаго тяготы и крѣпостныхъ, и государственныхъ повинностей, со включеніемъ тяжелой рекрутчины, то было время не легкой службы. Военные люди, какъ представители дисциплины и подчиненія, имѣли первенствующее значеніе, считались годными для всѣхъ родовъ службы. Гусарскій полковникъ засѣдалъ въ снудѣ, въ качествѣ оберъ-прокурора. Зато полковой священникъ, подчиненный оберъ-священнику, былъ служивый въ расѣ, независимый отъ архіерея... Всякая независимая отъ службы дѣятельность человѣка считалась развѣ только терпимой при незамѣтности и немедленно возбуждала опасеніе, какъ только чѣмъ-либо явно обнаруживалась... Тѣлесныя наказа-

нія считались главнымъ орудіемъ дисциплины и основой общественнаго воспитанія. Отъ ученія требовали только практической пригодности, наука была въ подозрѣніи. Съ 1848 года преслѣдованіе независимости во всѣхъ ея формахъ приняло мрачный характеръ».

При такихъ обстоятельствахъ, при такой тягости жизни почва для утопіи, для всяческихъ мечтаній готова. Славянофилы не замедлили выдвинуть на сцену свою утопію, свои мечтанія, что было имъ такъ-же необходимо, какъ глотокъ свѣжаго воздуха задыхающемуся человѣку. Обстоятельства заставили ихъ организоваться, сплотиться и подыскать философскія подпорки для своихъ возжелѣній.

Лѣтомъ 1836 г. въ одномъ изъ журналовъ того времени появилось знаменитое письмо Чаадаева. «Это былъ выстрѣлъ, раздавшійся въ темную ночь; тонуло ли что и возвѣщало свою гибель, былъ ли это сигналъ, зовъ на помощь, вѣсть объ утрѣ или о томъ, что его не будетъ,—все равно надо было проснуться».

Что, кажется, значать два-три листа, помѣщенныхъ въ ежемѣсячномъ обзорѣніи? а между тѣмъ такова сила рѣчи сказанной, такова мощь слова въ странѣ мечтаній и непривыкшей къ свободному говору, что письмо Чаадаева потрясло всю мыслящую Россію. Оно имѣло полное право на это. «Послѣ «Горя отъ ума» не было ни одного литературнаго произведенія, которое сдѣлало бы такое сильное впечатлѣніе. Между ними—десятилѣтнее молчаніе. Мысль исподволь работала, но ни до чего не доходила. Говорить было опасно, да и нечего было сказать; вдругъ тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала рѣчи для того, чтобы спокойно сказать: «lasciate ogni speranza».

«Со второй, третьей страницы письма,—говоритъ современникъ,—меня остановилъ печально серьезный тонъ; отъ каждого слова вѣяло долгимъ страданіемъ, уже охлажденнымъ, но еще озлобленнымъ. Такъ пишутъ только люди, долго думавшіе, много думавшіе и много испытавшіе въ жизни... Читаю далѣе—письмо растетъ, оно становится мрачнымъ обвинительнымъ актомъ, протестомъ личности, которая за все вынесенное хотѣтъ высказать часть накопившагося на сердцѣ».

«Каждый чувствовалъ тяготу: У cadaго было *что-то* на сердцѣ и все-таки всѣ молчали, наконецъ пришелъ человѣкъ, который по своему сказалъ—*что*. Онъ сказалъ только про боль, свѣтлаго ничего нѣтъ въ его словахъ, да нѣтъ ничего и во взглядѣ. Письмо Чаадаева—безжалостный крикъ боли и упрека петровской Россіи, она имѣла право на него; развѣ эта среда жалѣла, щадила автора или кого-нибудь?

«Разумѣется, такой годось долженъ былъ вызвать противъ себя оппозицію, или онъ былъ-бы совершенно правъ, говоря, что «прошедшее Россіи пусто, настоящее невыносимо, а будущаго для нея вовсе

нѣтъ, что «это пробѣлъ недоразумѣнія, грозный урокъ, данный народамъ—до чего отчужденіе и рабство могутъ довести». Это было покаканіе и движеніе. Оно и не прошло такъ. На минуту всѣ даже сонные и забытые воспрянули, испугавшись зловѣщаго голоса. Всѣ были изумлены, большинство было оскорблено, человѣкъ десять громко и горячо аплодировали автору.

Исторія Россіи—грозный урокъ, данный народамъ, «до чего отчужденіе и рабство могутъ довести»,—такова основная мысль Чаадаева. Искренняя, выстраданная, она однако несправедлива до рѣзкости, до обиды. Комментируя ее, Чаадаевъ говорилъ: «въ Москвѣ cadaго иностранца водятъ смотрѣть большую пушку и большой колоколь. Пушку, изъ которой стрѣлять нельзя, и колоколь, который свалился прежде, чѣмъ зазвонилъ. Удивительный городъ, гдѣ достопримѣчательности отличаются нелѣпостью; или можетъ быть этотъ большой колоколь безъ языка—гіероглифъ, выражающій эту огромную нѣмую страну, которую заселяетъ племя, назвавшее себя *славянами*, какъ бы удивляясь, что имѣетъ слово человѣческое»...

Нельзя было оставить безъ отпора такое неуваженіе. Чаадаевъ и славянофилы равно стояли передъ неразгаданнымъ сфинксомъ русской жизни; они равно спрашивали: «что же будетъ? Такъ жить невозможно; тягость и нелѣпость окружающаго очевидно невыносима—гдѣ же выходъ?»

«Его нѣтъ», отвѣчаетъ человѣкъ петровскаго періода, исключительно западной цивилизаціи, вѣрившій при Александрѣ I въ европейскую будущность Россіи. Онъ печально указывалъ, къ чему привели усилія цѣлаго вѣка: образованіе дало только новыя средства угнетенія, народъ стонетъ подъ игомъ, горшею прежняго. «Исторія другихъ народовъ—говоритъ онъ—повѣсть ихъ освобожденія. Русская исторія—развитіе крѣпостного состоянія». «Переворотъ Петра сдѣлалъ изъ насъ худшее, что могло сдѣлать изъ людей—просвѣщенныхъ рабовъ. Довольно мучились мы въ этомъ тяжеломъ, смутномъ нравственномъ состояніи, непонятые народомъ, отшатнувшіеся отъ него,—пора отдохнуть, пора свести въ свою душу миръ, прислониться къ чему-нибудь». Это почти значило, «пора умереть», и Чаадаевъ «прислонился» къ католицизму.

Славянофилы рѣшили вопросъ иначе.

Въ ихъ рѣшеніи лежало вѣрное сознаніе живой души въ народѣ, чутье ихъ было проникательнѣе ихъ разумѣнія. Они поняли, что современное состояніе Россіи не смертельная, а лишь временная болѣзнь. И въ то время какъ у Чаадаева слабо мерцаетъ

возможность спасенія лицъ, а не народа, у славянофиловъ явно проглядываетъ мысль о гибели лицъ, захваченныхъ современной эпохой, и вѣра въ спасеніе народа — его будущность.

«Выходъ за нами,—говорили славянофилы,—выходъ—въ отреченіи отъ петербургскаго періода, возвращеніе къ народу, съ которымъ разобщило иностранное образованіе: *воротимся* къ прежнимъ допетровскимъ правамъ».

Вѣрное хорошее настроеніе воплотилось въ странную форму. Исторія не возвращается; жизнь богата тканями, ей никогда не бываютъ нужны старыя платья. Всѣ возстановленія, всѣ реставраціи были всегда маскарадами: ни легитимисты не возвратились ко временамъ Людовика XIV, ни республиканцы — къ 8-ому Термидору. Случившееся стоитъ писанаго, его не вырубишь топоромъ... хотя бы самой гильотины.

Намъ сверхъ того и не къ чему возвращаться. Государственная жизнь допетровской Россіи была уродлива, бѣдна, дика,—а къ ней то и хотѣли славянофилы возвратиться, хотя они и не признаются въ этомъ: какъ же иначе объяснить всѣ археологическія воскрешенія, поклоненіе правамъ и обычаямъ прежняго времени и самыя попытки возвратиться не къ современной одеждѣ крестьянъ, а къ стариннымъ неуклюжимъ *боярскимъ* костюмамъ. И что это за ненависть къ фракамъ и брюкамъ нѣмецко-парижскаго покроя? Во всей Россіи кромѣ славянофиловъ никто не носилъ мурмолокъ. К. С. Аксаковъ одѣлся такъ «національно», что народъ на улицахъ принималъ его за персіянина, какъ рассказываетъ путя Чадаевъ.

Мурмолки и персидскіе кафтаны должны были набрасывать тѣнь на всѣ славянофильскія теоріи. Эта тѣнь по необходимости стусилась, когда узкій, назойливый, даже наглый, націонализмъ нашелъ себѣ убѣжище и радушный пріемъ въ славянофильскомъ лагерѣ.

«Такъ напримѣръ, въ концѣ тридцатыхъ годовъ былъ въ Москвѣ проѣздомъ панславистъ Гай. Москвитяне вѣрятъ вообще всѣмъ иностранцамъ; Гай былъ больше чѣмъ иностранецъ, онъ былъ «нашъ братъ» славянинъ. Ему, стало быть, нетрудно было разжалобить нашихъ славянъ судьбою страждущихъ и православныхъ братій въ Далмаціи и Кроаціи; огромная подписка была сдѣлана въ нѣсколько дней, и сверхъ того Гаю былъ данъ обѣдъ во имя всѣхъ сербскихъ и русняцкихъ симпатій. За обѣдомъ одинъ изъ нѣжнѣйшихъ по голосу и по занятіямъ славянофиловъ, чело-

вѣкъ *краснаго* православія, — К. Аксаковъ, — разгоряченный вѣроятно тостами за черногорскаго владыку, за разныхъ великихъ босняковъ, чеховъ и словаковъ, импровизировалъ стихи, въ которыхъ было слѣдующее «не совсѣмъ» христіанское выраженіе:

Упьюся я кровью мадьяровъ и нѣмцевъ...

Всѣ неповрежденные съ отвращеніемъ услышали эту фразу. По счастью остроумный статистикъ Андросовъ выручилъ кроваваго пѣвца; онъ вскочилъ съ своего мѣста, схватилъ десертный ножикъ и сказалъ: «Господа, извините меня; я васъ оставляю на минуту; мнѣ пришло въ голову, что хозяинъ моего дома, старикъ настройщикъ Дизъ, — нѣмецъ; я сбѣгаю его пригласить и сейчасъ же возвращусь». Громъ смѣха заглушилъ негодованіе».

Письмо Чаадаева заставило славянъ организоваться. Въ началѣ 40-хъ годовъ они были въ полномъ боевомъ порядкѣ съ своей легкой кавалеріей подъ начальствомъ Хомякова и чрезвычайно тяжелой пѣхотой Шевырева и Погодина, съ своими застрѣльщиками, охотниками, ультра-якобинцами, отвергавшими все бывшее послѣ кіевскаго періода, и умѣренными, отвергавшими только петербургскій періодъ; у нихъ были свои каведры въ университетѣ, свое ежемѣсячное обозрѣніе, какъ бы символически выходившее всегда двумя мѣсяцами позже, чѣмъ слѣдовало, но все же выходившее. При главномъ штабѣ состояли православные гегеліанцы, византійскіе богословы, мистическіе поэты, множество женщинъ и пр., и пр. По всей линіи происходили ожесточенныя стычки съ западниками. Эти постоянныя, черезъ день повторявшіяся стычки очень интересовали литературные салоны въ Москвѣ. Надо замѣтить вообще, что Москва входила тогда въ ту эпоху возбужденности умственныхъ интересовъ, когда литературные вопросы, за невозможностью политическихъ, становятся вопросами жизни. Появленіе замѣчательной книги, напр. «Мертвыхъ Душъ», составляло событіе. Критики и антикритики читались и комментировались съ тѣмъ вниманіемъ, съ какимъ бывало во Франціи или Англіи слѣдили за парламентскими преніями. Подавленность всѣхъ другихъ сферъ человѣческой дѣятельности бросала образованную часть общества въ книжный міръ и въ немъ одномъ дѣйствительно совершался глухо и полусловами протестъ противъ тяготы жизни. Въ лицѣ западниковъ и Грановскаго по преимуществу московское общество привѣтствовало равнуюсь къ

свободѣ мысль Запада,—мысль умственной независимости и борьбы за нее. Въ лицѣ славянофиловъ оно протестовало противъ оскорбленнаго чувства народности.

Все это, разумѣется, совершалось на вершинахъ общества, нисколько не затрогивая массы. Въ то время и славянофильство и западничество по необходимости были эзотерическими, «внутренними» ученіями, истинный смыслъ которыхъ былъ доступенъ лишь немногимъ посвященнымъ.

«Я въ Москвѣ зналъ, — говоритъ одинъ современникъ, — два круга, два полюса ея общественной жизни. Сначала я былъ потерянъ въ обществѣ стариковъ гвардейскихъ офицеровъ временъ Екатерины, товарищей моего отца, и другихъ стариковъ, нашихъ тихое убѣжище въ страннопримномъ сенатѣ, товарищей его брата. Потомъ я зналъ другую, *молодую* Москву—литературно-свѣтскую. Что прозябало и жило между старцами пера и меча, дожидавшимися своихъ похоронъ по рангу, и ихъ сыновьями или внучатами, не искавшими никакого ранга и занимавшимися «книжками и мыслями», я не зналъ и не хотѣлъ знать. Промежуточная среда эта — настоящая николаевская Русь—была безцвѣтна и пошла, безъ екатерининской оригинальности, безъ отваги и удали людей 1812 года, безъ нашихъ стремленій и интересовъ... Говоря о московскихъ гостинныхъ и столовыхъ, я говорю о тѣхъ, въ которыхъ нѣкогда царилъ А. С. Пушкинъ, давали тогъ декабристы, смѣялся Грибоедовъ, гдѣ М. Орловъ и А. Ермоловъ встрѣчали дружескій привѣтъ, потому что они были въ опалѣ; гдѣ наконецъ А. Хомяковъ спорилъ до 9-ти часовъ утра, начавши въ 9 вечера, гдѣ К. Аксаковъ съ мурмошкой въ рукѣ свирѣпствовалъ за Москву, на которую никто не нападалъ, гдѣ Р. выводилъ логически личнаго Бога *ad majorem gloriam Hegelii*, гдѣ Грановскій являлся съ своей тихой, но твердой рѣчью, гдѣ всѣ помнили Бакунина и Станкевича, гдѣ Чаадаевъ, тщательно одѣтый, съ нѣжнымъ, какъ изъ воску, лицомъ, сердилъ оторопѣвшихъ аристократовъ и православныхъ славянъ колкими замѣчаніями, всегда отлитыми въ оригинальную форму и намѣренно замороженными, гдѣ молодой старикъ А. И. Тургеневъ мило сплетничалъ обо всѣхъ знаменитостяхъ Европы отъ Шатобриана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгагенъ, гдѣ Воткинъ и Крюковъ патетически наслаждались рассказами М. С. Щепкина и куда наконецъ падалъ, какъ конгревова ракета, Бѣлинскій, выжигая кругомъ все, что попадало...»

Въ этихъ кружкахъ за литературными чаями и литературными ужинами все волновалось и кипѣло. Москва принимала дѣятельное участіе въ спорахъ за мурмошки и противъ нихъ, барыни и барышни читали статьи очень скучныя, слушали пренія очень длинныя, спорили сами за К. Аксакова или за Грановскаго, жалѣли только, что Аксаковъ слишкомъ славянинъ, а Грановскій недостаточно патріотъ. Споры возобновлялись на всѣхъ литературныхъ и нелитературныхъ вечерахъ, на которыхъ встрѣча-

лись западники и славянофилы, а это бывало раза два или три въ недѣлю. Въ понедѣльникъ собирались у Чаадаева, въ пятницу—у Свербѣева, въ воскресенье—у Елагиной. Сверхъ участниковъ въ спорахъ, сверхъ людей, имѣвшихъ мнѣнія, на эти вечера прїѣзжали охотники, даже охотницы, и сидѣли до двухъ часовъ ночи, чтобы посмотрѣть, кто изъ матадоровъ кого отдѣляетъ и какъ отдѣляютъ его самого: прїѣзжали въ томъ родѣ, какъ встарь ѣздили на кулачные бои и въ амфитеатръ за Рогожской заставой.

Ильей Муромцемъ, разившимъ всѣхъ со стороны православія и славянизма, былъ А. С. Хомяковъ, «Горгіасъ, совопросникъ міра сего», по выраженію Морошкина. Умъ сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый въ нихъ, богатый памятью и быстрымъ соображеніемъ, онъ горячо и неутомимо проспорилъ всю свою жизнь. Боецъ безъ усталости и отдыха, онъ билъ и кололъ, нападалъ и преслѣдовалъ, осыпалъ островами и цитатами, пугалъ и заводилъ въ лѣсъ, откуда безъ молитвы выйти было нельзя.

Философскіе споры его состояли въ томъ, что онъ отвергалъ *возможность разумомъ дойти до истины* (одинъ изъ крайнихъ догматовъ славянофильства); онъ приписывалъ разуму одну формальную способность, способность развивать зародыши или зерна, *даваемые откровеніемъ, получаемыя върой*. Если же разумъ оставленъ на самого себя, то, бродя въ пустотѣ и строя категорію за категоріей, онъ можетъ обличить свои законы, но никогда не дойдетъ ни до понятія о духѣ, ни до понятія о безсмертіи. На этомъ Хомяковъ билъ на голову людей, остановившихся между религіей и наукой. Какъ они ни бились въ формахъ гегелевской методы, какія ни дѣлали построенія, Хомяковъ шелъ за ними шагъ за шагомъ и подъ конецъ дулъ на карточный домъ логическихъ формулъ или подставлялъ ногу своимъ противникамъ и заставлялъ ихъ падать въ матеріализмъ, отъ котораго они стыдливо отрекались, или въ «атеизмъ», котораго они просто боялись. Хомяковъ торжествовалъ! Но, разумѣется, онъ не могъ не пасовать передъ людьми, которые безбоязненно принимали *всю* выводы науки, куда бы она ни вела ихъ.

Тутъ же были и другіе столпы славянофильства, братья Кирѣевскіе—Иванъ и Петръ. Оба они стоятъ печальными тѣнями на рубежѣ народнаго воскресенія; непризнанные живыми, недѣлившіе ихъ интересовъ, они не скидали савана, не разставались съ своей глубокой грустью.

«Преждевременно состарѣвшееся лицо Ивана Васильевича по-